

## Лев Троцкий "Моя жизнь". Глава из книги.

Автобиография Троцкого, несомненно, является произведением превосходного писателя и, возможно, даже человека с трагической судьбой. ...В ней неизменно мешается правда с вымыслом. Это придает книге много прелести, однако таково рода умонастроение вряд ли может подсказать политику правильное решение.

*Лион Фейхтвангер "Москва 1937". – М.: Гослитиздат, 1937.*

### Глава I. ЯНОВКА

Детство слывет самой счастливой порой жизни. Всегда ли так? Нет, счастливо детство немногих. Идеализация детства ведет свою родословную от старой литературы привилегированных. Обеспеченное, избыточное, безоблачное детство в наследственно богатых и просвещенных семьях, среди ласк и игр оставалось в памяти, как залитая солнцем поляна в начале жизненного пути. Вельможи в литературе или плебеи, воспевавшие вельмож, канонизировали эту насквозь аристократическую оценку детства. Подавляющее большинство людей, поскольку оно вообще оглядывается назад, видит, наоборот, темное, голодное, зависимое детство. Жизнь бьет по слабым, а кто же слабее детей?

Мое детство не было детством голода и холода. Ко времени моего рождения родительская семья уже знала достаток. Но это был суровый достаток людей, поднимающихся из нужды вверх и не желающих останавливаться на полдороге. Все мускулы были напряжены, все помыслы направлены на труд и накопление. В этом обиходе детям доставалось скромное место. Мы не знали нужды, но мы не знали и щедростей жизни, ее ласк. Мое детство не представляется мне ни солнечной поляной, как у маленького меньшинства, ни мрачной пещерой голода, насилий и обид, как детство многих, как детство большинства. Это было сероватое детство в мелкобуржуазной семье, в деревне, в глухом углу, где природа широка, а нравы, взгляды, интересы скудны и узки.

Духовная атмосфера, окружавшая мои ранние годы, и та, в которой прошла моя дальнейшая сознательная жизнь, — это два разных мира, отделенные друг от друга не только десятилетиями и странами, но и горными хребтами великих событий, и менее заметными, но для отдельного человека не менее значительными внутренними обвалами. При первом наброске этих воспоминаний мне не раз казалось, будто я описываю не свое детство, а старое путешествие по далекой стране. Я пытался даже вести рассказ о себе в третьем лице. Но эта условная форма слишком легко сбивается на беллетристику, т. е. на то, чего я прежде всего хотел бы избежать.

Несмотря на противоречие двух миров, единство личности переходит какими-то подспудными путями из одного в другой. Этим и объясняется, вообще говоря, интерес к биографиям и автобиографиям людей, которые по той или иной причине заняли несколько более пространное место в жизни общества. Я попробую поэтому с некоторой подробностью рассказать о своем детстве и своих школьных годах, ничего не предугадывая и не предрешая, т. е. не нанизывая факты на предвзятые обобщения, — просто так, как это было и как сохранила прошлое моя память.

Иногда мне казалось, что я помню, как сосал грудь матери. Надо думать, однако, что я просто перенес на себя то, что видел на младших детях. У меня были смутные воспоминания о какой-то сцене под яблоней в саду, которая разыгралась, когда мне было года полтора. Но и это воспоминание недостоверно. Наиболее твердо осталось в памяти такое происшествие: я с матерью в Бобринце, в семье Ц., где есть девочка двух или трех лет. Меня называют женихом, девочку — невестой. Дети играют в зале на крашеном полу, потом девочка исчезает, а маленький мальчик стоит один у комода, он переживает момент остолбенения, как во сне. Входит мать с хозяйкой. Мать смотрит на мальчика, потом на лужицу возле него, потом опять на мальчика, качает укоризненно головой и говорит: "Как тебе не стыдно"... Мальчик смотрит на мать, на себя и затем

на лужицу, как на нечто ему совершенно постороннее. "Ничего, ничего, — говорит хозяйка, — дети заигрались".

Маленький мальчик не испытывает ни стыда, ни раскаяния. Сколько ему тогда было? Должно быть, два года, но, может быть, и три.

Около того же времени я наткнулся на гадюку, гуляя с няней в саду. "Гляди, Лева, — сказала няня, показывая что-то блестящее в траве, — табачница зарыта в земле". Няня взяла палочку и стала раскапывать. Самой няне вряд ли было больше шестнадцати лет. Табачница развернулась, вытянулась в змею и с шипением поползла по траве. "Ай! ай!" — вскричала няня и, схватив меня за руку, быстро побежала прочь. Мне было трудно переставлять быстро ноги. Захлебываясь, я рассказывал потом, как мы думали, что нашли в траве табачницу, а оказалась гадюка.

Вспоминается еще ранняя сцена на "белой" кухне. Ни отца, ни матери дома нет. В кухне, кроме прислуги и кухарки, их гости. Старший брат, Александр, приехавший на каникулы, вертится тут же. Он становится обеими ногами на деревянную лопату, как на ходули, и долго пляшет на ней по земляному полу кухни. Я прошу брата уступить мне лопату, делаю попытку взобраться на нее, падаю и плачу. Брат поднимает меня, целует и на руках уносит из кухни.

Мне, должно быть, было уже года четыре, когда кто-то посадил меня на большую серую кобылу, смирную, как овца, без седла и без уздечки, только с веревочным недоуздом. Широко раскорячив ноги, я обеими руками держался за гриву. Кобыла тихо подвезла меня к грушевому дереву и прошла под веткой, которая пришлась мне по животу. Не понимая, что это значит, я съезжал по крупу вниз, пока не шлепнулся в траву. Больно не было, но было непостижимо.

Покупных игрушек я в детстве почти не имел. Раз только из Харькова мать привезла мне бумажную лошадку и мяч. С младшей сестрой я играл в самодельные куклы. Однажды тетя Феня и тетя Раиса, сестры отца, сделали нам несколько кукол из тряпочек, и тетя Феня навела карандашом глаза, рот и нос. Куклы казались необыкновенными, я помню их и сейчас. В один из зимних вечеров Иван Васильевич, наш машинист, вырезал и склеил из картона вагон с окнами и на колесах. Старший брат, приехавший на Рождество, сразу заявил, что сделать такой вагон можно в два счета. Он начал с того, что расклеил мой вагон, вооружился линейкой, карандашом и ножницами, долго чертил, а когда по чертежу отрезал, то вагон у него не сошелся.

Отъезжавшие в город родственники и знакомые не раз спрашивали меня: чего тебе привезти из Елизаветграда или Николаева? У меня разгорались глаза. Чего бы попросить? Мне приходили на помощь. Кто предлагал лошадку, кто книжки, кто цветные карандаши, а кто коньки. "Коньки "полугалифакс", — говорю я, так как слышал это название от брата. Те, что обещали, забывали о своем обещании, едва переступив порог. А я несколько недель жил надеждой, а потом долго томился разочарованием.

В палисаднике на подсолнух села пчела. Так как пчелы кусаются и нужна осторожность, то я срываю лист лопуха и через этот лист схватываю пчелу двумя пальцами. Меня пронизывает неожиданная и невыносимая боль. С воплем я бегу через двор в мастерскую, к Ивану Васильевичу. Он вынимает жало и смазывает палец спасительной жидкостью.

У Ивана Васильевича была банка, в которой тарантулы плавали в подсолнечном масле. Считалось, что это самое надежное средство от укусов. Тарантулов я ловил вместе с Витей Гертопановым. Для этой цели на нитке укреплялся кусочек воска и спускался в норку. Тарантул вцепляется в воск всеми лапами и влипает. Дальше остается только захватить его в пустую спичечную коробку. Впрочем, охота на тарантулов относится, должно быть, к более позднему времени.

Вспоминаю разговор старших, за долгим зимним вечерним чаем, о том, как и когда купили Яновку, сколько кому из детей было тогда лет и когда на службу поступил Иван Васильевич. Мать говорит: "А Леву перевезли с хутора уже готовенького", — и посматривает лукаво на меня. Я умозаключаю

про себя, а затем говорю вслух: "Значит, я родился на хуторе?..". "Нет, — говорят мне, — ты родился уже здесь, в Яновке".

"А как же мама говорит, что меня привезли готовеньким?"...

"Это мама так себе сказала, пошутила"... Я не удовлетворен и размышляю, что это странная шутка, но умолкаю, потому что на лицах старших вижу ту особую улыбку посвященных, которой очень не люблю. Из этих воспоминаний за зимним чаем, когда никто никуда не спешит, вытекает хронология. Родился я в октябре, 26-го. Стало быть, в Яновку родители мои переехали с хутора весною или летом 1879 г.

Год моего рождения был годом первых динамитных ударов по царизму. Незадолго перед тем возникшая террористическая партия "Народная воля" вынесла 26 августа 1879 г. — за два месяца до моего появления на свет — смертный приговор Александру II. 19 ноября уже произведено было динамитное покушение на царский поезд. Начиналась грозная борьба, которая привела 1 марта 1881 г. к убийству Александра II, но в то же время и к гибели самой "Народной воли".

За год перед тем закончилась русско-турецкая война. В августе 1879 г. Бисмарк заложил основания австро-германского союза. Золя выпустил в этом году роман, где будущий организатор Антанты, тогдашний принц Уэльский, выведен в качестве тонкого ценителя опереточных певиц ("Нана"). Ветер реакции, усилившийся в европейской политике со времени франко-прусской войны и разгрома Парижской коммуны, еще не ослабевал. В Германии социал-демократия уже подпала под исключительные законы Бисмарка. Виктор Гюго и Луи Блан в 1879 г. внесли во Французскую палату требование амнистии коммунарам.

Но ни парламентские дебаты, ни дипломатические акты, ни даже динамитные взрывы не доносили своих отголосков до деревни Яновки, в которой я увидел свет и провел первые девять лет своей жизни. На необъятных степях Херсонской губернии и всей Новороссии жило особыми законами царство пшеницы и овец. Оно было прочно ограждено от вторжения политики своими пространствами и отсутствием дорог. Многочисленные степные курганы остались здесь как вехи великого переселения народов.

Отец мой был земледельцем, сперва мелким, затем более крупным. Мальчиком он покинул со своей семьей еврейское местечко в Полтавской губернии, чтоб искать счастья на вольных степях Юга. В Херсонской и Екатеринославской губерниях имелось в те годы около сорока еврейских земледельческих колоний с населением около 25 000 душ. Евреи-земледельцы были уравниены с крестьянами не только в правах (до 1881 г.), но и в бедности. Неумолимым, жестоким, беспощадным к себе и к другим трудом первоначального накопления отец мой поднимался вверх.

Метрическая книга велась в колонии Громоклей не очень исправно. Много записывалось задним числом.

Когда понадобилось мне поступить в среднее учебное заведение и оказалось, что я не вышел еще годами для первого класса, то в метриках перенесли мое рождение с 1879-го на 1878 год. Поэтому годам моим велся всегда двойной счет: официальный и семейный.

Первые девять лет своей жизни я почти не высовывал носа из отцовской деревни. Звалась она Яновкою — по имени помещика Яновского, у которого была куплена земля. Старик Яновский вышел в полковники из рядовых, попал к начальству в милость при Александре II и получил на выбор 500 десятин в еще не заселенных степях Херсонской губернии. Он построил в степи землянку, крытую соломой, и такие же незамысловатые надворные строения. С хозяйством у него, однако, не пошло. После смерти полковника семья его поселилась в Полтаве. Отец купил у Яновского свыше 100 десятин да десятин 200 держал в аренде. Полковницу, сухонькую старушку, помню твердо: она приезжала не то раз, не то дважды в год получать арендную плату за землю и поглядеть, все ли на месте. За ней посылали лошадей на вокзал и к подъезду выносили стул, чтобы легче было ей сойти с рессорного фургона. Фаэтон у отца появился лишь позже, когда завелись и

выездные жеребцы. Старушке полковнице варили бульон из курицы и яички всмятку. Гуляя с сестрой моей по саду, полковница отдирала сухонькими ноготками со стволов застывшую древесную смолу и уверяла, что это самое лучшее лакомство.

Посевы расширялись, увеличивалось число лошадей и скота. Пробовали завести мериносовых овец, но дело не наладилось. Зато свиней было много. Они свободно ходили по двору, перерыли все окрестности и окончательно погубили сад. Хозяйство велось внимательно, но по старинке. Определить, какая отрасль давала выгоду, какая убыток, можно было лишь на глаз. По той же причине трудно было определить и размеры состояния. Все средства были всегда в земле, в колосе, в зерне, зерно лежало в закромах или передвигалось к портам. Иногда за чаем или за ужином отец вдруг вспоминал: "А ну-ка, запишите, я получил от комиссионера 1300 рублей: полковнице выслал 660, 400 отдал Дембовскому, та запишите, что Феодосии Антоновне дал 100 рублей, когда был весной в Елизаветграде". Так, примерно, велась бухгалтерия. Тем не менее отец медленно, но упорно поднимался вверх.

Жили мы в том самом земляном домике, который был построен старым полковником. Крыша была соломенной, с бесчисленными воробьиными гнездами в застрехе. Стены снаружи давали глубокие трещины, и в этих трещинах заводились ужи. Их иногда принимали за гадюк, лили в щели горячую воду из самовара, но безуспешно. В большие дожди низкие потолки протекали, особенно в сенях: на земляной пол ставили чашки и тазы. Комнаты были маленькие, окна подслеповатые, в двух спальнях и детской полы были глиняные и плодили блох. В столовой настлали дощатый пол и раз в неделю натирали его желтым песком. А в главной комнате, шагов восемь длиной, которая торжественно называлась залом, пол был крашеный. Там помещали полковницу. В палисаднике вокруг дома росли кусты желтой акации, белых и красных роз, летом вились крученые паньчи. Двор не был огражден вовсе. Большое глиняное здание под черепицей, которое строил уже отец, заключало в себе: мастерскую, хозяйскую кухню и людскую. Затем шел "малый" деревянный амбар, за ним "большой" деревянный амбар, потом "новый" амбар — все под камышом. Чтоб вода не подтекала и зерно не прело, амбары возвышались на камнях. В жару и холод под ними укрывались собаки, свиньи и домашняя птица. Куры находили там укромные места для носки яиц. Я не раз извлекал оттуда куриные яйца, ползая меж камней на животе: взрослому пролезть было невозможно. На крыше большого амбара каждый год заводятся аисты. Подняв к небу свои красные клювы, они глотают ужей и лягушек, — это страшно! Тело ужа извивается из клюва и кажется, будто змей ест аиста изнутри.

В амбаре, поделенном на закрома, свежая пахучая пшеница, шероховато-колючий ячмень, плоское, скользкое, почти жидкотекущее льняное семя, черный с синевой бисер рапса, тонкий легкий овес. Когда дети играют в прятки, то разрешается, не всегда, а при почетных гостях, прятаться даже в амбарах. Перебравшись через загородку закрома, я карабкаюсь на пшеничный холм и переваливаюсь на другую его сторону. Руки по локти и ноги по колени уходят в расплывающуюся массу; в башмаки, нередко рваные, и за пазуху набивается зерно. Дверь амбара прикрыта, и на ней для виду кем-нибудь навешивается замок, только не запертый, — этого требовали правила игры. Я лежу в прохладе амбара, погруженный в зерно, вдыхаю растительную пыль и слышу, как Сеня В., или Сеня Ж., или Сеня С., или сестра Лиза, или еще кто бродят по двору, находят спрятавшихся, но никак не могут открыть меня, утопающего в свежей арнаутке.

Конюшни, коровник, свиной хлев и птичник помещались по другую сторону дома. Все это было кое-как слеплено из глины, лозы и соломы. В сотне шагов от дома торчал высоким журавлем к небу колодец. За ним — пруд, омывавший мужицкие огороды. "Греблю" (плотину) каждую весну сносило полой водой, и ее снова укрепляли: соломой, землей, навозом. На пригорке у пруда стояла мельница. Дощатый барак укрывал десятицильную паровую машину и два постава. Здесь в ранние годы моего детства мать проводила большую часть своего трудового времени. Мельница работала не только для экономии, но и на всю округу. Крестьяне привозили зерно за 10 — 15 верст и платили за помол десятой мерой. В горячее время, накануне молотбы, мельница работала 24 часа в сутки, и, когда я научился считать и писать, мне приходилось иногда взвешивать крестьянский хлеб и высчитывать, сколько причитается помолу. Когда убирали урожай, мельница закрывалась, паровик уходил на молотбу. Впрочем, позже установлен был неподвижный двигатель, новое

здание мельницы было построено из камня и черепицы, да и хозяйская землянка была заменена большим кирпичным домом под железом. Но все это произошло, когда мне подходил уже 17-й год. Во время последних своих каникул я расчислял для будущего дома пробеги между окнами и размеры дверей, но никак не мог свести концы с концами. В следующий свой приезд в деревню я видел каменный фундамент. В самом доме мне жить уже не довелось. Теперь в нем помещается советская школа...

В мельнице мужики дожидались иной раз неделями. Кто жил поближе, тот ставил мешки в очередь, а сам уезжал домой. Дальние жили на возах, а в дождь спали в самой мельнице на мешках.

У одного из помольщиков пропала уздечка. Кто-то видел, как приезжий мальчишка вертелся около чужой лошади. Кинулись обыскивать отцовский воз и в сене нашли уздечку. Отец мальчика, бородатый, угрюмый мужик, крестился на восток и клялся, что это проклятый хлопец, арестантюга, сам надумал и что он ему за это кишки выпустит. Но отцу не верили. Мужик поймал сына за шиворот, опрокинул на землю и стал стегать краденой уздечкой. Из-за спины взрослых я глядел на эту сцену. Хлопец кричал и божился, что больше не будет. Кругом угрюмо стояли дядьки, равнодушные к воплям подростка, курили сигарки и бормотали в бороды, что порет мужик с фальшью, только для вида и что надо бы отстегать заодно и отца.

За сараями и хлевами шли клуны, т. е. огромные, на десятки сажен крыши, одна камышовая, другая соломенная, поставленные прямо на землю, без стен. В клунях ссыпались холмы зерна; в дождливое или ветреное время там работали веялкой или решетом. Дальше, за клунями, находился ток, где молотили хлеб. Через балку стоял загон для скота, сложенный целиком из сухого навоза.

С полковничьей землянкой и со старым диваном в столовой связана вся моя детская жизнь. На этом диване, обложенном фанерой под красное дерево, я сидел за чаем, за обедом, за ужином, играл с сестрой в куклы, а позже и читал. В двух местах обшивка прорвана. Дыра поменьше — с того конца, где стоит кресло Ивана Васильевича, и дыра побольше — там, где сижу я, подле отца. "Пора перетянуть диван новым сукном", — говорит Иван Васильевич. "Давно пора, — отвечает мать. — Мы диван не перетягивали с того года, когда царя убили". "Та знаете, — оправдывается отец, — приедешь в этот проклятый город, туда-сюда бегаешь, извозчик кусается, та все думаешь, как поскорее вырваться назад в экономию, вот и забудешь про все покупки".

Через всю столовую проходил под низким потолком "сволок" — большое выбеленное бревно, на которое сверху клались и ставились самые различные вещи: тарелки со съестным, чтобы кошка не съела, гвозди, веревочки, книжки, баночка с чернилами, заткнутая бумажкой, ручка со старым, ржавым пером. В перьях избытка не было. Бывали недели, когда я строгал себе столовым ножом перо из дерева, чтобы срисовать лошадок из старых номеров иллюстрированной "Нивы". Вверху, под потолком, где был выступ дымохода, жила кошка. Там она выводила котят и оттуда спускала их в зубы, смелым прыжком вниз, когда становилось слишком жарко. О сволок неизменно стучались головою гости высокого роста, вставая из-за стола, и оттого вошло в обычай предупреждать гостей: "Осторожно, осторожно" — и указывать рукою вверх, под потолок.

Самым замечательным предметом в маленьком зале были клавишины, занимавшие не меньше чем четверть комнаты. Этот предмет появился уже на моей памяти. Разорившаяся помещица, верст за пятнадцать — двадцать, переезжала в город и распродала обстановку. У нее купили диван, три венских стула и старые, разбитые клавишины, давно стоявшие в амбаре, с оборванными струнами. За клавишины заплатили шестнадцать рублей и привезли в Яновку на арбе. Когда стали разбирать их в мастерской, из-под деки вынули парудохлых мышей. Несколько зимних недель мастерская была занята клавишинами. Иван Васильевич чистил, подклеивал, полировал, доставал струны, натягивал, настраивал. Все клавиши были восстановлены, и клавишины зазвучали в зале, хоть и дрябленькими, но все же неотразимыми голосами. Иван Васильевич перевел свои чудодейственные пальцы с клапанов гармонии на клавиши клавишины и играл камаринскую, польку и "мейн либер Августин". Стала учиться музыке старшая сестра. Бренчал иногда старший брат, который в Елизаветграде несколько месяцев обучался на скрипке. Наконец и я стал по скрипичным нотам брата наигрывать на клавишинах одним пальцем. Слуха у меня не было, и

любовь моя к музыке осталась слепой и беспомощной навсегда. Вот на этих-то клавишинах показывал искусство своей правой руки, пригодной для концертов, сосед наш Моисей Харитонович М-ский. Весною двор превращается в море грязи. Иван Васильевич делает для себя деревянные калоши, вернее, котурны, и я с восторгом наблюдаю из окна, как он воздымается чуть не на пол-аршина выше обычного роста. Вскоре появляется в экономии дед-шорник. Никто, по-видимому, не знает его имени. Ему свыше 80 лет. Это николаевский (Николая I) солдат. Он прослужил в армии двадцать лет. Огромный, плечистый, с белой бородой и в белых волосах, еле переставляя тяжелые ноги, он подвигается к амбару, где устроил свою походную мастерскую. "Слабы ноги стали", — жалуется дед уже лет десять. Зато руки его, пахнущие кожей, крепче клещей. Ногти как клавиши из слоновой кости, очень острые на концах.

— Хочешь, покажу тебе Москву, — говорит мне дед. Я, конечно, хочу. Дед берет меня большими пальцами под уши и поднимает вверх. Я чувствую прикосновение страшных ногтей, мне больно и обидно. Я болтаю ногами и требую спустить меня вниз.

— Не хочешь, — говорит дед, — и не надо.

Несмотря на обиду, я не отхожу.

— А ну-ка, — говорит дед, — поднимись-ка по лестнице на амбар, посмотри, что там на чердаке делается. Я чувствую уловку и колеблюсь. Оказывается, на чердаке младший мельник Константин с кухаркою Катюшей. Оба красивые, веселые, оба работяги. — А когда ты с Катюшей обвенчаешься? — спрашивает Константина хозяйка. — Да нам и так хорошо, — отвечает Константин. — Венчаться — десять рублей клади, уж лучше я Кате сапоги куплю.

После жгучего степного напряженного лета, с его трудовой кульминацией, уборкой урожая, "страдой", которая разворачивается далеко от дома, приближается ранняя осень, чтоб подвести итог году каторжного труда. Молотьба в полном разгаре. Центр жизни переносится на ток, за клунами, это с четверть версты за домом. Над током туча соломенной пыли. Барабан молотилки воет. Мельник Филипп, в очках, — на молотилке у барабана. Черная борода его покрыта серой пылью. С воза подают ему снопы, он берет их не глядя, развязывает перевязло, раздвигает сноп и пускает в барабан. Рванув охалку, барабан рычит, как собака, схватившая кость. Соломотрясы выбрасывают солому, играя ею на ходу. Сбоку, из рукава, бежит полова (мякина). Ее отвозят к стогу волоком, и я стою на дощатом его хвосте, держась за веревочные вожжи. "Гляди не упади!" — кричит отец. Но я падаю уже в десятый раз — то в солому, то в мякину. Серая туча пыли сгущается над током, барабан ревет, полова забивается за рубаху и в нос, приходится чихать. "Эй, Филипп, — легче!" — предостерегает снизу отец, когда барабан вдруг загрохочет слишком злобно. Я поднимаю волок, он вырывается всем весом, ударяет по пальцу руки. Боль такая, что все сразу исчезает из глаз. Крадучись, я отползаю в сторону, чтобы не видели, что я плачу, потом бегу домой. Мать льет на руку холодную воду и перевязывает палец. Но боль не унимается. Палец нарываяет в течение нескольких мучительных дней.

Мешки с пшеницей заполняют амбары, клуны и складываются ярусами под брезентом во дворе. Хозяин сам становится нередко у решета, меж шестов, и учит, как поворачивать обод, чтобы отвеять мякину, и как потом одним коротким толчком выкинуть без остатка очищенное зерно в кучу. В клунах и под амбаром, где есть защита от ветра, вертятся веялки и кукольные отборники. Очищается зерно, готовится к рынку.

Появляются скупщики с медными сосудами и весами в аккуратных лакированных ящиках. Они делают пробу зерну, предлагают цену и суют задаток. Их принимают вежливо, угощают чаем и сдобными сухарями, но зерна им не продают. Они мелко плавают. Хозяин уже перерос эти пути торговли. У него свой комиссионер, в Николаеве. "Хай ще полежит, — отвечал отец, — зерно есть не просит". Через неделю получалось письмо из Николаева, а иногда и телеграмма: цена повысилась на пять копеек с пуда. "Вот и нашли тысячу карбованцев, — говорил хозяин, — они не валяются". Но бывало и наоборот: цены падали. Таинственные силы мирового рынка находили

себе пути и в Яновку. Возвращаясь из Николаева, отец сумрачно говорил: "Кажуть, что... как ее звать... Аргентина много хлеба выкинула на сей год".

Зимой в деревне тихо. Работают по-настоящему только мельница да мастерская. Топят соломою, которую прислуги приносят огромными охапками, рассыпая ее по пути и подметая каждый раз за собою. Весело запихивать солому в печь и глядеть, как она вспыхивает. Однажды дядя Григорий застал меня и младшую сестру Олю одних в столовой, синей от угара. Я вертелся среди комнаты, не узнавая предметов, и на оклик дяди упал в глубокий обморок. В зимние дни мы часто оставались одни в доме, особенно во время отъездов отца, когда все хозяйство ложилось на мать. Иногда в сумерках мы с сестренкой сидели, прижавшись друг к другу на диване, с широко открытыми глазами и боялись шевелиться. Иногда в темную столовую входил с морозу гигант, скрипя огромными валенками, в огромной шубе, с огромным откидным воротником, с шапкой, с рукавицами на руках, с ледяшками на усах и бороде и огромным голосом говорил в темноту: "Здравствуйте". Застыв рядом в углу дивана, мы боялись ответить на приветствие. Тогда великан зажигал спичку и открывал нас в углу. Это оказывался сосед. Иногда одиночество в столовой становилось совершенно невыносимым, тогда я, несмотря на мороз, выбегал во внешние сени, открывал двери, выскакивал на камень — большой плоский камень перед порогом — и оттуда кричал в темноту: "Машка, Машка, иди в столовую, иди в столовую" — много, много раз, потому что у Машки были в это время свои дела: на кухне, в людской или в другом месте. Наконец из мельницы приходила мать, зажигалась лампа, и появлялся самовар.

Вечером мы оставались обычно в столовой, доколе не засыпали. В столовую входили и уходили, брали и приносили ключи, из-за стола отдавались распоряжения, шла подготовка к завтрашнему дню. Я, младшая сестра Оля, старшая — Лиза и отчасти и горничная жили в эти часы своей жизнью, зависимой от жизни взрослых и ими приглушаемой. Иногда сказанное кем-либо из старших слово будит какое-либо наше, особенное воспоминание. Я подмигиваю сестренке, она заглушенно хихикает, кто-нибудь из старших рассеянно взглядывает на нее. Я подмигиваю снова, она старается спрятать смех под клеенку и ударяется лбом о стол. Это заражает меня, иной раз и старшую сестру, которая с сохранением тринадцатилетнего достоинства лавирует между младшими и старшими. Если смех прорывался слишком бурно, я вынужден был спускаться под стол, красться промеж ног старших и, отдавив хвост кошке, прорываться в соседнюю каморку, именуемую детской. Через несколько минут все начиналось сначала. От смеху слабели пальцы, так что нельзя было удержать стакан. Голова, губы, руки, ноги — все растворялось и текло в смехе. "Что с вами такое?" — спрашивала усталая мать. Два круга жизни, верхний и нижний, на мгновенье сливались. Старшие глядели на детей с вопросом, иногда благожелательно, чаще с раздражением. Тогда смех, застигнутый врасплох, бурно прорывался наружу. Оля снова уходила с головой под стол, я падал на диван, Лиза кусала нижнюю губу, горничная скрывалась за дверью.

— Ступайте-ка спать! — говорили старшие. Но мы не уходили, прятались по углам, боясь глядеть друг на друга. Сестренку уносили, а я чаще всего засыпал на диване. Кто-нибудь брал меня на руки. Спросенок я поднимал иногда громкий крик. Мне казалось, что меня обступили собаки, или снизу шипят змеи, или разбойники уносят меня в лес. Детский кошмар врывается в жизнь взрослых. Меня по пути успокаивали, гладили и целовали. Так, из смеха — в сон, из сна — в кошмар, из кошмара — в пробуждение, я снова переходил в сон уже в перинах натопленной спальни.

Зима была все же наиболее семейным временем года.

Выпадали целые дни, когда отец и мать почти не выходили из комнаты. Старший брат и сестра прибывали на Рождество из своих школ. В воскресенье Иван Васильевич, чисто вымытый и подстриженный, вооруженный ножницами и гребешком, начинает стричь сперва отца, затем реалиста Сашу, затем меня. Саша спрашивает:

— А вы умеете, Иван Васильевич, стричь а ля капуль? Все поднимают голову на Сашу, а он рассказывает, как его в Елисаветграде цирюльник замечательно постриг а ля капуль, а на другой день ему был за это от инспектора строгий выговор.

После стрижки садятся обедать. Отец и Иван Васильевич — с двух концов стола, в креслах, дети — на диване, мать — напротив. Иван Васильевич столовался вместе с хозяевами, пока не женился. Зимой обедали медленнее, после обеда разговаривали, Иван Васильевич курил и пускал замысловатые кольца. Иногда сажали Сашу или Лизу читать вслух. Отец дремал, сидя на лежанке, и его на этом ловили. Вечером изредка садились играть в подкидного дурака, и тут бывало много возни и смеху, а иногда и маленьких ссор. Особенно считалось привлекательным сплутовать против отца, который играл невнимательно, смеялся, когда проигрывал, в отличие от матери, которая играла лучше, волновалась и зорко следила за тем, чтобы старший брат не плутовал против нее.

От Яновки до ближайшего почтового отделения — 23 километра, до железной дороги — свыше 35 километров. Отсюда далеко до начальства, до магазинов, до городских центров и еще дальше до больших событий истории. Жизнь здесь регулировалась исключительно ритмом земледельческого труда. Все остальное казалось безразличным. Все остальное, кроме цен на мировой бирже зерна. Газет и журналов в деревне в те годы не получали: это явилось позже, когда я стал уже реалистом. Письма получались редко, с оказией. Иной раз сосед, захвативший из Бобринца письмо, носил его неделю и две в кармане. Получение письма было событием, получение телеграммы катастрофой.

Мне объясняли, что телеграмма идет по проволоке, а между тем я видел собственными глазами, что телеграмму привозил из Бобринца верховой, которому полагалось платить за это 2 рубля 50 копеек. Телеграмма — это бумажка, как письмо, и на ней карандашом написаны слова. Как же она может идти по проволоке, разве ветром? Мне отвечали, что электричеством. Это было еще хуже. Дядя Абрам однажды внушительно объяснял мне: "По проволоке идет ток и делает знаки на ленте. Повтори". Я повторял: ток по проволоке, и знаки на ленте. "Понял?". Понял. "А как же потом получается письмо?" — спросил я, имея в виду телеграфный бланк, приходящий из Бобринца. "Письмо идет отдельно", — отвечал дядя. Я недоумевал, зачем нужен ток, если "письмо" едет на лошади. Но дядя рассердился: "Оставь в покое письмо, — прикрикнул он. — Я тебе объясняю о телеграмме, а ты мне все о письме". Так вопрос и остался невыясненным.

У нас гостила Полина Петровна, барынька из Бобринца с большими серьгами и с чубиком, напущенным на лоб. Ее потом мама отвозила в Бобринец, и я ехал с ними. Когда проехали курган, что на одиннадцатой версте, показались телеграфные столбы и загудела проволока. "А как идет телеграмма?" — обратился я к матери. "А вот ты попроси Полину Петровну, — ответила растерянно мать, — она тебе объяснит". Полина Петровна объяснила: "Знаки на ленточке означают буквы, их переписывает на бумажке телеграфист, и бумажку отвозит верховой". Это было понятно. "А как же ток идет, ничего не видать?" — спросил я, глядя на проволоку. "А ток идет внутри, — ответила Полина Петровна. — Все эти проволоки сделаны как трубочки, и внутри них течет ток". Это тоже было понятно, я надолго успокоился. Электромагнитные жидкости, о которых я слышал года через четыре от учителя физики, показались мне гораздо менее вразумительными.

Отец и мать прошли через свою трудовую жизнь не без трений, но в общем очень дружно, хотя были они разные люди. Мать вышла из городской мещанской семьи, которая сверху вниз смотрела на хлебороба с потрескавшимися руками. Но отец был в молодости красив, строен, с мужественным и энергичным лицом. Он успел собрать кое-какие средства, которые в ближайшие годы дали ему возможность купить Яновку. Переброшенная из губернского города в степную деревню, молодая женщина не сразу вошла в суровые условия сельского хозяйства, но зато вошла полностью и с той поры не выходила из трудовой упряжки в течение почти 45 лет. Из восьми рожденных от этого брака детей выжило четверо. Я был пятым в порядке рождения. Четверо умерло в малых летах от дифтерита, от скарлатины, умерло почти незаметно, как и выжившие жили незаметно. Земля, скот, птица, мельница требовали всего внимания без остатка. Времена года сменяли друг друга, и волны земледельческого труда перекачивались через семейные привязанности. В семье не было нежности, особенно в более отдаленные годы. Но была глубокая трудовая связь между матерью и отцом. — Подай матери стул, — говорил отец, как только мать приближалась к порогу, покрытая белой пылью мельницы. Ставь, Машка, скорей самовар, —

кричала хозяйка, еще не дойдя до дому. — Скоро хозяин будет с поля. Оба они хорошо знали, что такое предельная усталость тела.

Отец был, несомненно, выше матери и по уму, и по характеру. Он был глубже, сдержаннее, тактичнее. У него был на редкость хороший глаз — не только на вещи, но и на людей. Родители покупали вообще мало, особенно в старые годы, — и отец, и мать умели беречь копейку, но отец безошибочно понимал, что покупал. Сукно, шляпа, ботинки, лошадь или машина — у него во всем было чутье качества. "Я грошей не люблю, — говорил он мне позже, как бы оправдывая свою прижимистость, — но я не люблю, когда их нема. Беда, когда грошей треба, а их нема". Он говорил неправильно, на смеси русского и украинского языков, с преобладанием украинского. Людей он оценивал по манерам, по лицу, по всей повадке, и оценивал метко.

После многих родов и трудов мать стала одно время хворать и ездила в Харьков к профессору. Такие поездки были большими событиями, к ним долго готовились. Мать запасалась деньгами, банками с маслом, мешком со сдобными сухарями, жареными курицами и прочим. Впереди предстояли большие расходы. Профессору надо было платить по три рубля за визит. Об этом говорили друг другу и гостям, с поднятым вверх пальцем и с особенно значительным выражением лица; тут было и уважение к науке, и жалоба на то, что она так дорого обходится, и гордость тем, что есть возможность платить такие неслыханные деньги. Возвращения матери ждали с волнением. Мать приезжала в новом платье, которое казалось в яновской столовой неслыханно нарядным.

Когда дети были еще малы, отец в обращении с ними был мягче и ровнее. Мать часто раздражалась, иногда без основания, просто срывая на детях усталость или хозяйственную неудачу. В те годы считалось более выгодным просить о чем-либо отца. Но с годами отец становился жестче. Причиной были трудности жизни, хлопоты, которые росли вместе с ростом дела, особенно в условиях аграрного кризиса 80-х годов, и разочарования, принесенные детьми.

Долгими зимами, когда степным снегом заносило Яновку со всех сторон, наваливая сугробы выше окон, мать любила читать. Она садилась на небольшой треугольной лежанке в столовой, ставя ноги на стул, или, когда надвигались ранние зимние сумерки, пересаживалась в отцовское кресло, к маленькому обмерзшему окну и громким шепотом читала заношенный роман из Бобринецкой библиотеки, водя натруженным пальцем по строкам. Она нередко сбивалась в словах и запинаясь на сложно построенной фразе. Иногда подсказка кого-либо из детей совсем по-иному освещала в ее глазах прочитанное. Но она читала настойчиво, неутомимо, и в свободные часы зимних тихих дней можно было уже в сених слышать ее размеренный шепот.

Отец научился разбирать по складам уже стариком, чтобы иметь возможность читать хотя бы заглавия моих книг. Я с волнением следил за ним в 1910 г. в Берлине, когда он настойчиво стремился понять мою книжку о немецкой социал-демократии.

Октябрьская революция застала отца очень зажиточным человеком. Мать умерла еще в 1910 г., но отец дожил до власти Советов. В разгар гражданской войны, которая особенно долго свирепствовала на юге, сопровождаясь постоянной сменой властей, семидесятипятилетнему старику пришлось сотни километров пройти пешком, чтоб найти временный приют в Одессе. Красные были ему опасны, как крупному собственнику. Белые преследовали его, как моего отца. После очищения юга советскими войсками он получил возможность прибыть в Москву. Октябрьская революция отняла у него, разумеется, все, что он нажил. Свыше года он управлял небольшой государственной мельницей под Москвой. С ним любил беседовать по хозяйственным вопросам тогдашний народный комиссар продовольствия Цюрупа. Отец умер весной 1922 г. от тифа в тот час, когда я выступал с докладом на IV конгрессе Коминтерна.

Очень важным местом, главным местом в Яновке, была мастерская, в которой работал Иван Васильевич Гребень. Он поступил на службу, когда ему было 20 лет, в год моего рождения. Всем детям, в том числе и старшим, он говорил "ты", а мы обращались к нему на "вы" и величали Иваном Васильевичем. Когда ему пришлось призываться, отец мой ездил с ним вместе, кое-кого они

подкупали, и Гребень остался в Яновке. Это был человек большой одаренности и красивого типа, с темно-русыми усами и французской бородкой. Техника его была универсальна: он ремонтировал паровики, выполнял котельную работу, точил металлические и деревянные шары, отливал медные подшипники, делал пружинные дрожки, починял часы, настраивал рояль, обивал мебель, построил целиком двухколесный велосипед, только без шин. Между пригосударственным классом и первым я на этом сооружении научился велосипедной езде. В мастерскую немцы-колонисты привозили для ремонта сеялки и сноповязалки и приглашали Ивана Васильевича с собою на покупку молотилки или паровика. С отцом советовались по вопросам хозяйства, с Иваном Васильевичем — по вопросам техники. В мастерской были помощники и ученики. Я во многих делах был учеником этих учеников.

Не раз я нарезал в мастерской гайки и винты. Эта работа давала удовлетворение, ибо явственный результат ее обнаруживался тут же под руками. Иногда брался растирать краски на гладко отшлифованном каменном кругу. Но скоро приходило утомление, я все чаще спрашивал, не готово ли? Потерев кончиком пальца жирную смесь, Иван Васильевич качал отрицательно головою. Я уступал камень кому-нибудь из учеников.

Иногда Иван Васильевич садился на сундучок с инструментом, в углу, за верстаком, курил и глядел в пространство, не то обдумывая, не то припоминая, не то просто отдыхая без мысли. В таком случае я подбирался к нему со стороны и начинал ласково крутить один из его пышных темно-русых усов или внимательно рассматривать его руки — эти замечательные, совсем особенные кисти мастера. Вся кожа рук усеяна черными точками: это мельчайшие осколки, навсегда въевшиеся в тело при насечке мельничного жернова. Пальцы вязкие, как корневища, но совсем не жесткие, расширяются к концам, крайне подвижные, а большой глубоко отгибается назад, образуя дугу. Каждый палец сознателен, живет и действует посвоему, а вместе они составляют необыкновенную рабочую артель. Как ни мало мне лет, но я вижу, я чувствую, что эта рука не так, как все другие руки, держит молоток или клещи. На левой руке большой палец обведен наискосок ободком рубца. В самый день моего рождения Иван Васильевич хватил себя по руке топором, палец висел почти на одной коже. Отец случайно увидел, как молодой машинист, положив руку на доску, готовится отрубить палец начисто. "Постойте, — закричал он, — палец еще прирастет". "Прирастет, думаете?" — спросил машинист и отложил топор. Палец действительно прирос, работает исправно, только отгибается назад не так глубоко, как на правой руке.

Старую берданку Иван Васильевич переделал на дробовик и теперь испытывал правильность боя: все по очереди пробовали на расстоянии нескольких шагов ударом по пистону потушить свечу. Не у всех выходило. Случайно вошел мой отец. Когда он брал ружье на прицел — у него дрожали руки, да и ружье он держал как-то неуверенно. Тем не менее свечу потушил сразу. У него был меткий глаз во всяком деле, и это понимал Иван Васильевич. У них никогда не выходило переколов, хотя с другими отец говорил по-хозяйски, часто выговаривал и поправлял.

В мастерской я никогда не был без дела. Я раскачивал рукоятку поддувала, устроенного Иваном Васильевичем по собственной системе: вентилятор был невидим, так как находился на чердаке, и это вызывало изумление всех посетителей. Я вертел до изнеможения колесо токарного станка, особенно когда на нем точились крокетные шары из слоистой акации. В мастерской шли тем временем разговоры один другого интереснее. Благопристойность тут соблюдалась не всегда. Вернее бы сказать, что она не соблюдалась вовсе. Зато кругозор мой расширялся, не по дням, а по часам. Фома рассказывал про имения, в которых работал, про разные приключения помещиков и помещиц. Нужно сказать, что он не обнаруживал к ним большой симпатии. Мельник Филипп подгонял к теме воспоминания из своей военной жизни. Иван Васильевич ставил вопросы, сдерживал, дополнял.

Кочегар Яшка, он же иногда молотобоец, угрюмый рыжий человек лет тридцати, не держался на месте долго. Что-то подхватывало его; то осенью, то весной он скрывался, спустя полгода появлялся снова. Он пил редко, но тяжелым запоем. Имел страсть к охоте, но пропил ружье. Фома рассказывал, как Яшка в Бобринце пришел в лавку босой, ноги у него облипли черноземной грязью

со всех сторон, потребовал пистончик для своей шомпольной одностволки, рассыпал нарочно коробку, стал собирать, наступил на пистончик грузной ногой и унес.

— Врет Фома? — спросил Иван Васильевич.

— Зачем врать, — ответил Яшка, — у меня ж ни копейки не было. — Этот способ добывания нужных предметов казался мне замечательным и достойным подражания.

— Наш Игнат приехал, — сообщала горничная Маша, — а Дуньки нету, до своих на праздник пошла. Кочегар Игнат назывался нашим в отличие от горбатого Игната, который до Тараса был старостой. "Наш" Игнат уезжал призываться. Сам Иван Васильевич мерил ему грудь и говорил: "Ни за что не возьмут". Приемная комиссия поместила Игната на месяц в больницу, на испытание. Там он познакомился с городскими рабочими и решил попытать счастья на заводе. На Игнате были городские сапоги и полушубок с цветной мережкой. Целый день Игнат провел в мастерской, рассказывал про город, про работу, про порядки, про станки, про плату.

— Известно, завод... — говорил задумчиво Фома.

— Завод это тебе не мастерская, — прибавлял Филипп. И все глядели задумчиво поверх мастерской.

— Много станков? — жадно переспросил Виктор.

— Как лес.

Я слушал не мигая и воображал себе завод, как раньше воображал лес: ни вверх, ни направо, ни налево, ни назад, ни вперед ничего не видать, одни машины, и среди этих машин — Игнат, туго подпоясанный ремненным поясом. А у Игната оказались еще и часы. Они переходили из рук в руки. Вечером хозяин ходил по двору с Игнатом, за ними — приказчик. Я тут же, то со стороны отца, то со стороны Игната. "Ну, а харчиться? Хлеба купуешь? Молоко купуешь? За квартиру платишь?" — "Это небесспорно, за все, как есть за все плати, — соглашался Игнат... — Только заработок не тот".

— Знаю, что не тот, только весь твой заработок и уйдет на харчи.

— А все же таки, — оспаривал с твердостью Игнат, — я за полгода и оделся трошки, и часы себе купил. Вот машинка, в кармане. — И он снова показал часы. Этот довод был неотразим. Хозяин умолкал, потом спрашивал:

"А не пьешь, Игнат? Там кругом таки учителя, что живо научат".

— Да я даже и надобности в ней не имею, что за водка такая.

— Ну а как же, Игнат, Дуньку возьмешь с собою? — спрашивала хозяйка.

Игнат улыбался в сторону, чуть виновато, но не отвечал.

— Эге, да я уже бачу, бачу, — говорила хозяйка, — уже завел, видно, городскую шлюху, признавайся, шарлатан.

Так и уехал Игнат из Яновки.

В людскую детям возбранялось ходить. Но кто за этим мог уследить? В людской было всегда много нового. Долгое время кухаркой была скуластая женщина, с провалившимся носом. Муж ее, старик с парализованным наполовину лицом, был скотским пастухом. Их называли кацапами, потому что они были из внутренней губернии. У этой четы была девочка лет восьми, очень

миловидная, голубоглазая и беловолосая. Она привыкла к тому, что тятка с мамкой всегда бранятся.

В воскресные дни девушки искали в головах у парней или друг у друга. На охапке соломы лежат в людской рядом две Татьяны — Татьяна высокая и Татьяна маленькая. Конюх Афанасий, сын приказчика Пуда и брат кухарки Параски, уселся поперек между ними, перебрисил ноги через маленькую Татьяну, а сам облокотился на высокую.

— Ишь, какой Магомет, — с завистью говорит приказчик. — А не пора ли тебе коней поить?

Этот рыжеватый Афанасий да еще черный Мутузок были моими преследователями. Когда я попадал к моменту раздачи кандера или каши, непременно раздается насмешливый голос: "А ты бы, Лева, пообедал с нами" или "А ты бы, Лева, у мамы для нас курочек попросил". Я конфузился и уходил молчком. К Пасхе для рабочих выпекали куличи и красили яйца. Тетя Раиса была мастерица красить. Она привезла из колонии несколько узорных яиц и два подарила мне. За погребом, на скате катали яйца, цокали друг о друга: у кого крепче. Я подошел уже к самому концу, когда оставался один Афанасий. "Красивенькие? — спросил я, показывая ему писанки". "Та нечего, — ответил Афанасий с видом безразличия. — Хочешь, цокнем, у кого крепче?" Я не посмел отклонить вызов. Афанасий цокнул, и моя писанка треснула на макушке. "Значит, мое, — сказал Афанасий. — А ну-ка давай другое". Я подставил покорно вторую писанку. Афанасий опять цокнул: "И это мое". Он деловито забрал обе писанки и пошел не оглядываясь. Я смотрел с удивлением и крепко хотел плакать, но дело было непоправимо.

Постоянных рабочих, не покидавших экономии круглый год, было немного. Главную массу, исчислявшуюся сотнями в годы больших посевов, составляли сроковые рабочие, киевцы, черниговцы, полтавцы, которых нанимали до Покрова, то есть до первого октября. В урожайные годы Херсонская губерния поглощала 200-300 тысяч таких рабочих. За четыре летних месяца косари получали 40-50 рублей на хозяйских харчах, женщины 20-30 рублей. Жильем служило чистое поле, в дождливую погоду — стога. На обед — постный борщ и каша, на ужин — пшенная похлебка. Мяса не давали вовсе, жиры отпускались почти только растительные и в скудном количестве. На этой почве начиналось иногда брожение. Рабочие покидали жнивье, собирались во дворе, ложились в тень амбаров животами вниз, загибали вверх босые, потрескавшиеся, исколотые соломой ноги и ждали. Им давали кислого молока, или арбузов, или полмешка тарани (сушеной воблы), и они снова уходили на работу, нередко с песней. Так происходило во всех экономиях. Были косари, пожилые, жилистые, загорелые, которые приходили в Яновку лет десять подряд, зная, что им работа всегда обеспечена. Они получали несколько добавочных рублей и время от времени рюмку водки, так как они определяли темп работы. Иные являлись во главе целого семейного выводка. Шли из своих губерний пешком, целый месяц, питаясь краюхами хлеба, ночуя на базарах. В одно лето пришлые рабочие повально заболели куриной слепотой. В сумерки они медленно передвигались, вытянув вперед руки. Гостивший в деревне племянник матери написал об этом корреспонденцию, которую заметили в земстве и прислали инспектора. На "корреспондента", которого очень любили, отец и мать были в обиде. Да он и сам был не рад. Никаких неприятных последствий, однако, не было: инспекция установила, что болезнь происходит от недостатка жиров, что распространена она почти во всей губернии, так как везде кормят одинаково, а кое-где и хуже.

В мастерской, в людской кухне, на задворках жизнь раскрывалась передо мною шире и по-иному, чем в семье. Жизненная фильма не имеет конца, а я был только у самого начала. Присутствия моего никто не стеснялся, когда я был поменьше. Языки развязывались свободно, особенно в отсутствие Ивана Васильевича или приказчика, которые все же наполовину принадлежали к правящим. При свете кузнечного горна или кухонного очага родители, родственники, соседи представляли передо мною нередко совсем в новом освещении. Многое из тех бесед вошло в сознание навсегда. Многое, может быть, легло в основу моего отношения к современному обществу.

В версте от Яновки, и того меньше, помещалась экономия Дембовских. Отец арендовал у них землю и связан был с ними многолетними деловыми связями. Собственницей имения была Феодосья Антоновна, старая полька-помещица, из бывших гувернанток. После смерти первого богатого мужа она женила на себе своего управляющего, Казимира Антоновича, моложе ее лет на 20. Феодосья Антоновна давно уже не жила со своим вторым мужем, который по-прежнему управлял имением. Казимир Антонович был высокий, усатый, веселый и крикливый поляк. Он нередко пил у нас чай за большим овальным столом и с шумом рассказывал пустяковые истории по два и три раза, повторяя отдельные словечки и пощелкивая пальцами.

У Казимира Антоновича была изрядная пасека, подальше от конюшен и хлевов, так как пчелы не выносят лошадиного запаха. Пчелы собирали мед с фруктовых деревьев, с белых акаций, с рапса, гречихи, словом, было им где разгуляться. Время от времени Казимир Антонович сам приносил к нам в салфетке две перекрытые тарелки, меж которыми лежал кусок сотов в прозрачном золоте меда.

Иван Васильевич отправился однажды со мною к Казимиру Антоновичу, чтоб достать голубей на развод. В одной из угловых комнат большого пустого дома Казимир Антонович угощал нас чаем. В больших, пахнущих сыростью тарелках стояли масло, творог и мед. Я пил чай с блюдечка и слушал медлительный разговор. "А не опоздаем?" — спрашивал я потихоньку Ивана Васильевича. "Нет, погоди, — отвечал Казимир Антонович, — надо им дать утомиться под крышей. Там их видимо-невидимо". Я томился. Наконец, с фонарем в руках полезли на чердак над амбаром. "Ну, теперь берегись", — говорил мне Казимир Антонович. Чердак был длинный, темный, перегороженный в разных направлениях балками. Пахло мышами, пылью, паутиной и птичьим пометом. Фонарь потушили. "Тут они, хватайте", — сказал потихоньку Казимир Антонович. И после этих слов началось неопишное. В глубочайшей темноте открылась адская возня: чердак ожил и закружился вихрем. Один момент мне казалось, что рушится мир, что было на чердаке. Голубятню устроили под крышей, над мастерской. Я лазил по лестнице по десять раз на день, носил голубям воду, просо, пшеницу, крошки. Через неделю в одном из гнезд появилось два яичка. Но не успели еще все прочувствовать как следует удовлетворение от этого факта, как голуби стали пара за парой возвращаться на старые места. Осталось всего три пары с подрезанными крыльями, но и они через недельку, когда перья отросли, покинули прекрасно построенную голубятню с коридорной системой. На этом закончился опыт разведения голубей.

Под Елизаветградом отец снимал землю у барыни Т-цкой. Это вдова лет под сорок, с характером. При ней состоит батюшка, тоже вдовый, любитель музыки, карт и многого другого. Барыня Т-цкая со вдовым батюшкой приезжает в Яновку пересматривать условия аренды. Им отводят зал и соседнюю комнату. К столу подают курицу в масле, вишневую наливку и вареники с вишнями. После обеда я остаюсь в зале и вижу, как батюшка подсаживается к барыне Т-цкой и что-то очень смешное говорит ей на ухо. Отвернув полу рясы и вытащив из кармана полосатых брюк серебряный портсигар с монограммой, батюшка закуривал папиросу и, ловко пуская кольца дыма, рассказывает в отсутствие барыни, как она в романах читает одни только разговоры. Все улыбаются из вежливости, но воздерживаются от суждений, так как знают, что батюшка все передаст барыне, да еще и присочинит.

У Т-цкой отец стал снимать землю вместе с Казимиром Антоновичем. К этому времени он уже овдовел и сразу переменялся: в бороде исчезла просесть, появился крахмальный воротничок, галстук, булавка и карточка дамы в кармане. Казимир Антонович, хоть и посмеивался, как все, над дядей Григорием, но именно ему исповедовался во всех сердечных делах и показывал фотографическую карточку, вынимая ее из конверта. "Поглядите, — говорил он млевшему от восторга дяде Григорию, — я этой особе говорю: сударыня, ваши губы созданы для поцелуев". На этой особе Казимир Антонович женился, но через год-полтора после женитьбы погиб неожиданной смертью: во дворе имения Т-цкой поднял его на рога бык и забодал насмерть...

Верстах в восьми находилось имение братьев Ф-зер. Земля исчислялась тысячами десятин. Дом был похож на дворец, богато обставлен, с многочисленными помещениями для гостей, с бильярдной и всем прочим. Братья Ф-зер, Лев и Иван, получили все это в наследство от отца

Тимофея и постепенно наследство проживали. Имение было на руках у управляющего и, несмотря на двойную бухгалтерию, давало убыток. "Вы не смотрите, что Давид Леонтьевич живет в землянке, он богаче меня", — говорил иногда старший Ф-зер про моего отца, и когда ему передавали об этом, он бывал явно доволен. Младший из братьев, Иван, проезжал однажды через Яновку с двумя охотниками верхом, с ружьями за спиной, со стаей белых борзых. Этого Яновка никогда не видела. "Скоро-скоро они наследство проохотят", — сказал неодобрительно вслед отец.

Печать обреченности лежала на этих помещичьих семьях Херсонской губернии. Они проделывали крайне быструю эволюцию, и все больше в одну сторону — к упадку, несмотря на то, что по составу своему были очень различны: и потомственные дворяне, и чиновники, одаренные за работу, и поляки, и немцы, и евреи, успевшие купить землю до 1881 г. Основоположники многих из этих степных династий были люди в своем роде выдающиеся, удачливые, по натуре хищники. Я, впрочем, не знал лично никого из них, они все к началу восьмидесятых годов успели вымереть. Многие из них начинали с ломаного гроша, но смелой ухваткой, нередко с уголовщиной, прибирали к рукам гигантские куски. Второе поколение выросло уже в условиях скороспелого барства, с французским языком, с бильярдом и со всяким беспутством. Аграрный кризис 80-х годов, вызванный заокеанской конкуренцией, ударил по ним беспощадно. Они валились, как сухие листья с дерева. Третье поколение выделяло очень много полуразвалившихся прощелыг, никчемных людей, неуравновешенных и преждевременных инвалидов.

Наиболее чистой культурой дворянского разоренья была семья Гертопановых. По их имени Гертопановским называлось большое село и вся волость — Гертопановской. Когда-то вся округа принадлежала этой семье. Теперь у старика остались 400 десятин, но они заложены и перезаложены. Мой отец снимает эту землю, и арендные деньги идут в банк. Тимофей Исаевич жил тем, что писал крестьянам прошения, жалобы и письма. Приезжая к нам в гости, он прятал в рукав табак и сахар. Также поступала и жена его. Брызгаясь слюною, она рассказывала о своей юности, о рабнях, роялях, шелках и духах. Два сына их выросли почти неграмотными. Младший, Виктор, был учеником у нас в мастерской.

В 5-6 верстах от Яновки жили помещики-евреи М-ские. Это была причудливая и сумасбродная семья. Старик Моисей Харитонович, лет 60, отличался воспитанием дворянского типа: говорил бегло по-французски, играл на рояле, знал кое-что из литературы. Левая рука у него была слабая, а правая годилась, по его словам, для концертов. Он ударял по клавишам старых клавесин запущенными ногтями, точно кастаньетами. Начав с полонеза Огинского, переходил незаметно на рапсодию Листа и сразу сползал на Молитву девы. Такие же скачки бывали у него и в разговоре. Неожиданно оборвав игру, старик подходил к зеркалу и, если никого поблизости не было, подпаливал папироской с разных сторон свою бороду, приводя ее таким образом в порядок. Курил он непрерывно, задыхаясь и как бы с отвращением. С женой своей, тяжелой старухой, не разговаривал уже лет 15. Сын его Давид, лет 35, с неизменной белой повязкой на лице и с красным подрагивающим глазом над повязкой, был неудачным самоубийцей. На военной службе нагрубил в строю офицеру. Тот ударил его. Давид дал офицеру пощечину, убежал в казарму и пытался застрелиться из винтовки. Пуля вышла через щеку, и оттого на ней неизменная белая повязка. Солдату грозила суровая расправа. Но в то время жив еще был родоначальник этой династии, старик Харитон, богатый, властный, малограмотный деспот. Он поднял на ноги всю губернию и добился для своего внука признания невменяемости. Может быть, впрочем, это было не так уж далеко от истины. Давид жил с тех пор с простреленной щекой и с паспортом сумасшедшего.

М-ские продолжали падать на моей памяти. В первые ранние мои годы Моисей Харитонович еще приезжал в фаэтоне, на хороших выездных лошадях. Совсем маленьким, мне, должно быть, было 4-5 лет, я был у М-ских со старшим братом. Сад был большой, хорошо поддерживался, в нем были даже павлины. Это диковинное существо с коронкой на капризной головке, с прекрасными зеркальцами на сказочном хвосте и со шпорами на ногах я видел впервые. Потом павлины исчезли, и с ними многое другое. Забор вокруг сада завалился. Скот выбил плодовые деревья и цветы. Моисей Харитонович приезжал в Яновку в фургоне, на лошадях крестьянского типа. Сыновья сделали попытку возродить имение, не по-пански, а по-мужицки. "Купим кляч, будем по утрам сами выезжать, как Бронштейн". "Ничего у них не выйдет", — говорил мой отец. За покупкой

"кляч" отправлен был в Елизаветград на ярмарку Давид. Он ходил по ярмарке, присматривался к лошадям глазом кавалериста и отобрал тройку. В деревню он вернулся поздним вечером. Дом был полон гостей в легких летних нарядах. Абрам с лампой в руках вышел на крыльцо разглядывать лошадей. С ним вышли дамы, студенты, подростки. Давид сразу почувствовал себя в своей сфере и разъяснял преимущество каждой лошади и особенно той, которая, по его словам, походила на барышню. Абрам чесал снизу бороду и повторял: "Лошади-то хорошие..." Кончилось пикником. Давид снял с миловидной гостыи туфлю, налил в нее пива и поднес к губам.

— Неужели вы будете пить? — спрашивала та, вспыхнув не то от испуга, не то от восхищенья.

— Если я в себя стрелять не побоялся... — ответил герой и опрокинул туфлю в рот.

— Ты бы уж лучше не хвалился своими подвигами, — неожиданно откликнулась всегда молчавшая мать, большая рыхлая женщина, на которой лежало хозяйство.

— Это у вас озимая пшеница? — спрашивает Абрам М-ский моего отца, чтоб показать свою деловитость.

— Та вже ж не яровая.

— Никополька?

— Та у меня ж озимая.

— Я знаю, что озимая, только какой породы: никополька или гирка?

— Та я щось не чув, чтоб была озимая никополька. Може у кого е, а у меня нема. У меня сандомирка.

Так из этого усилия ничего и не вышло. Через год земля снова сдана была в аренду моему отцу.

Особую группу составляли немцы-колонисты. Среди них были прямо богачи. Семейный уклад у них жестче, сыновья редко посылались в город, девушки обычно работали в поле. В то же время дома у них были из кирпича, под зеленой и красной железной крышей, лошади породистые, сбруя исправная, рессорные повозки так и назывались немецкими фургонами. Ближайшим к нам был Иван Иванович Дорн, подвижной толстяк, в полуботинках на босую ногу, с дублеными щечками в щетине, с проседью, всегда на прекрасном фургоне, расписанном яркими цветами и запряженном вороными жеребцами, которые били копытами землю. Таких Дорнов было немало. Над ними высилась фигура Фальцфейна, овечьего короля, степного Канитферштана.

Тянутся бесчисленные стада. — Чьи овцы? — Фальцфейна. Едут чумаки, везут сено, солому, полову. — Кому? — Фальцфейну. Мчится на тройке в расписных санях меховая пирамида. Это управляющий Фальцфейна. А то вдруг, пугая своим видом и ревом, пройдет караван верблюдов. Только у Фальцфейна они и водились. У Фальцфейна были жеребцы из Америки, быки из Швейцарии.

Родоначальник этой семьи, еще только Фальц, а не Фейн, служил шафмейстером у герцога Ольденбургского, которому отпущен был казною куш на разведение мериносовых овец. Герцог наделал около миллиона рублей долга, а дела не сделал. Фальц скупил хозяйство и пустил его не по-герцогски, а по-шафмейстерски. Его овечьи гурты росли, как его пастбища и экономии. Дочь его вышла замуж за овцевода Фейна. Так и объединились эти две овечьи династии. Имя Фальцфейна звучало, как топот десятков тысяч овечьих копыт, как бляение бесчисленных овечьих голосов, как крик и свист степных чабанов с длинными гирлыгами за спиной, как лай бесчисленных овчарок. Сама степь выдыхала это имя в зной и в лютые морозы.

Я оставил позади первое пятилетие. Опыт мой расширяется. Жизнь страшно богата на выдумки и так же прилежно занимается своими комбинациями в маленьком захолустье, как и на мировой арене. События наваливаются на меня одно за другим.

С поля привезли работницу, которую укусила на жнивье гадюка. Девушка жалобно плакала. Распухшую ногу ее туго перевязали повыше колена и опустили в бочонок с кислым молоком. Девушку отвезли в Бобринец, в больницу, откуда она снова вернулась на работу. Она носила на укушенной ноге чулок, грязный и порванный, и рабочие называли ее не иначе, как барышней.

Боров разгрыз лоб, плечи и руку парню, который кормил его. Это был новый, огромный боров, который призван был обновить все свиное стадо. Парень был перепуган насмерть и всхлипывал, как мальчик. Его тоже отвезли в больницу.

Двое молодых рабочих, стоя на возах со снопами, перебрасывались железными вилами. Я пожирал это зрелище. Одному из них вилы вонзились в бок, и он свалился с воплем.

Все это произошло в течение одного лета. А между тем ни одно лето не обходилось без событий.

Осенней ночью снесло в пруд всю деревянную постройку мельницы. Сваи давно подгнили, и под ураганом дощатые стены двинулись, как паруса. Локомотив, поставы, крупорухка, кукольный отборник обнаженно глядели из развалин. Из-под досок выскакивали ежеминутно огромные мельничные крысы.

Полутайком я уходил вслед за водовозом в поле, на охоту за сусликами. Надо было аккуратно, не слишком быстро, но и не медленно лить воду в нору и с палкой в руке дожидаться, пока над отверстием покажется крысиная мордочка с плотно прилегающей мокрой шерстью. Старый суслик сопротивляется долго, затыкая задом нору, но на втором ведре сдается и выскакивает навстречу смерти. У убитого надо отрезать лапы и нанизать на нитку: земство выдает за каждого суслика копейку. Раньше требовали предъявлять хвостик, но ловкачи из шкурки вырезывали десяток хвостиков, и земство перешло на лапки. Я возвращаюсь весь в земле и в воде. В семье не поощряли таких походов, более любили, когда я сидел на диване в столовой и срисовывал слепого Эдипа с Антигоной.

Однажды мы возвращались с матерью в санях из Бобринца, ближайшего к нам города. Ослепленный снегом, убаюканный ездой, я дремал. На повороте сани опрокидываются, и я падаю ничком. Сверху меня накрывает ковром и сеном. Я слышу тревожные оклики матери, но мне нет возможности отвечать. Кучер — это новый: молодой, рослый, рыжий — поднимает ковер и открывает мое местонахождение. Снова усаживаемся и едем. Но тут я начинаю жаловаться, что у меня по спине мурашки бегают от холода. "Мурашки?" — оборачивается молодой рыжебородый кучер, показывая, крепкие, белые зубы. Я смотрю ему в рот и говорю: "Да, знаете, как будто мурашки". Кучер смеется. "Ничего, — говорит он, — скоро доедем!" — и подгоняет буланого. Следующей ночью этот самый кучер исчез вместе с буланым. В экономии тревога. Собирается вдогонку конная экспедиция со старшим братом во главе. Он седлает для себя Муца и обещает свирепо разделаться с похитителем. "Ты раньше догони его", — говорит ему угрюмо отец. Двое суток проходит, прежде чем возвращается погоня. Брат жалуется на туман, который не дал настичь конокрада. Значит, красивый, веселый парень, это и есть конокрад? С такими белыми зубами?

Меня томил жар, и я метался. Мешали руки, ноги и голова, они разбухали, упирались в стену и потолок, и от всех помех некуда было уйти, потому что помехи шли изнутри. У меня болит в горле, и весь я горю. Мать глядит в горло, затем отец, они переглядываются с тревогой и решают смазать мне горло синим камнем. "Я боюсь, — говорит мать, — что у Левы дифтерит". "Если б это был дифтерит, — отвечает Иван Васильевич, — он бы уже давно лежал на лавке". Я смутно догадываюсь, что лежать на лавке — значит быть мертвым, как умерла младшая сестра Розочка. Но я не верю, что это может относиться ко мне, и слушаю разговор спокойно. В конце концов решают отвезти меня в Бобринец. Мать не очень благочестива, но в субботу не решается ехать в

город. Со мной отправляется Иван Васильевич. Останавливаемся у маленькой Татьяны, бывшей нашей прислуги, которая замужем в Бобринце. Детей у нее нет, и поэтому нет опасности заразы. Доктор Шатуновский смотрит мне в горло, меряет температуру и, как всегда, утверждает, что ничего еще нельзя знать. Хозяйка Таня дает мне пивную бутылку, внутри которой из палочек и дощечек построена целая церковь. Ноги и руки перестают надоедать мне.

Я выздоравливаю. Когда это произошло? Незадолго до открытия эры.

Дело было так. Дядя Абрам, старый эгоист, который проходил мимо детей неделями, вдруг в хорошую минуту призвал меня и спросил: "А скажи, прямо того, какой теперь год? Не знаешь? 1885! Повтори, запомни, я позже спрошу". Что это значит, я постигнуть не мог. "Да, теперь 1885 год, — сказала двоюродная сестра, тихая Ольга, — а потом будет 1886-й". Этому я не поверил. Если уж допустить, что время имеет свое название, то 1885 год будет существовать вечно, т. е. очень, очень долго, как большой камень, заменяющий у входа порог, как мельница, наконец, как я сам. Бетя, младшая сестра Ольги, не знала, кому верить. Все трое чувствовали беспокойство от того, что вступили в новую область, точно распахнули с разбега дверь в наполненную сумраком комнату, где нет мебели и гулко отдаются голоса. В конце концов мне пришлось сдаться. Все становилось на сторону Ольги. Так первым нумерованным годом, который вошел в мое сознание, был 1885-й. Он положил конец бесформенному времени, доисторической эпохе моего существования, хаосу: с этого узла началось летоисчисление. Мне тогда было шесть лет. Для России это был год неурожая, кризиса и первых больших рабочих волнений. Но меня он поразил лишь своим непостижимым наименованием. С тревогой пытался я раскрыть таинственную связь между временем и цифрами. Потом началось чередование годов, сперва медленно, а затем все быстрее. Но 85-й долго выделялся среди них как старший, как родоначальник. Он стал моей эрой.

Было однажды такое событие. Я сел в фургон перед крыльцом и в ожидании отца прибрал к рукам вожжи. Молодые лошади понесли с места мимо дома, мимо амбара, мимо сада, без дороги, полем, по направлению к усадьбе Дембовских. За спиной слышались крики. Впереди был ров. Лошади мчались в самозабвении. Только перед самым рвом, рванувшись в сторону и едва не опрокинув фургон, они остановились как вкопанные. Сзади бежали кучер, за ним двое-трое рабочих, дальше бежал отец, еще дальше кричала мать, старшая сестра ломала руки. Мать продолжала кричать и тогда, когда я бросился к ней навстречу. Нельзя умолчать, что я получил два шлепка от отца, бледного как смерть. Я даже не обиделся, так все было необыкновенно.

*В этом же году, должно быть, я совершил с отцом поездку в Елизаветград. Выехали на рассвете, ехали не спеша, в Бобринце кормили лошадей, к вечеру доехали до Шивой, которую из вежливости называли Швивой, переждали там до рассвета, потому что под городом шалили грабители. Ни одна из столиц мира — ни Париж, ни Нью-Йорк — не произвела на меня впоследствии такого впечатления, как Елизаветград, с его тротуарами, зелеными крышами, балконами, магазинами, городскими и красными шарами на ниточках. В течение нескольких часов я широко раскрытыми глазами глядел в лицо цивилизации.*

Через год после открытия эры я стал учиться. Однажды утром, выспавшись и наскоро умывшись (умывались в Яновке всегда наскоро), предвкушая новый день, и прежде всего чай с молоком и сдобный хлеб с маслом, я вошел в столовую. Там сидела мать с неизвестным человеком, худощавым, бледно улыбающимся и как бы заискивающим. И мать и незнакомец посмотрели на меня так, что стало ясно: разговор имел какое-то отношение ко мне.

— Поздоровайся, Лева, — сказала мать, — это твой будущий учитель. Я поглядел на учителя с некоторой опаской, но не без интереса. Учитель поздоровался со мной мягкой, с какой каждый учитель здоровается со своим будущим учеником при родителях. Мать закончила при мне деловой разговор: за столько-то рублей и столько-то пудов муки учитель обязывался в своей школе, в колонии, учить меня русскому языку, арифметике и библии на древнееврейском языке. Объем науки определялся, впрочем, смутно, так как в этой области мать не была сильна. В чае с молоком я чувствовал уже привкус будущей перемены моей судьбы.

В ближайшее воскресенье отец отвез меня в колонию и поместил у тетки Рахили. В том же фургоне мы отвезли тетке пшеничной и ячменной муки, гречихи, пшеница и прочих продуктов.

До Громоклея от Яновки было четыре версты. Колония располагалась вдоль балки: по одну сторону — еврейская, по другую — немецкая. Они резко отличны. В немецкой части дома аккуратные, частью под черепицей, частью под камышом, крупные лошади, гладкие коровы. В еврейской части — разоренные избышки, ободранные крыши, жалкий скот.

Странно на первый взгляд, что первая школа оставила совсем мало по себе воспоминаний. Грифельная доска, на которой я списывал впервые буквы русской азбуки, выгнутый на ручке худой указательный палец учителя, чтение библии хором, наказание какого-то мальчика за воровство — смутные обрывки, туманные пятна, ни одного яркого образа. Изъятие составляла, пожалуй, жена учителя, высокая, полная женщина, которая время от времени принимала в нашей школьной жизни участие, каждый раз неожиданное. Однажды во время занятий она пожаловалась мужу, что от новой муки чем-то пахнет, и когда учитель протянул к ее руке с мукой свой острый нос, она вытряхнула всю муку ему в лицо. Это была ее шутка. Мальчики и девочки смеялись. Один учитель был невесел. Мне было жаль его, когда он стоял среди класса с напудренным лицом.

Жил я у доброй тети Рахили, не замечая ее. Тут же, во дворе, в главном доме, властвовал дядя Абрам. К племянникам и племянницам своим от относился с полным безучастием. Меня иногда выделял, зазывал к себе и угощал костью с мозгами, приговаривая: "За эту кость я бы, прямо того, и десять рублей не взял".

Дядин дом почти у самого въезда в колонию. В противоположном конце живет высокий, черный, худой еврей, слышущий конокрадом и вообще мастером темных дел. У него дочь. О ней тоже говорят нехорошо. Недалеко от конокрада строчит на машинке картузник, молодой еврей с огненно-рыжей бородкой. Жена картузника приходила к правительственному инспектору колоний, который останавливался у дяди Абрама, жаловаться на дочь конокрада, отбивающую у нее мужа. Инспектор, видно, не помог. Возвращаясь однажды из школы, я видел, как толпа с криками, воплями, плевками волокла молодую женщину, дочь конокрада, по улице. Эта библейская сцена запомнилась навсегда. Несколько лет спустя на этой самой женщине женился дядя Абрам. Отец ее к этому времени был по постановлению колонистов выслан в Сибирь как вредный член общества.

Бывшая моя няня Маша служила прислугой у дяди Абрама. Я часто бегал к ней на кухню: она олицетворяла связь с Яновкой. К Маше заходили гости, иногда очень нетерпеливые, и тогда меня легонько выпроваживали за плечи. В одно прекрасное утро вместе со всем детским населением дома я узнал, что Маша родила ребенка. Мы шептались по углам в радостной тревоге. Через несколько дней из Яновки приехала моя мать и ходила на кухню глядеть на Машу и ее ребенка. Я проник за матерью. Маша стояла в платочке, надвинутом на глаза, а на широкой скамье лежало бочком маленькое существо. Мать глядела на Машу, потом на ребенка и укоризненно качала головой, ничего не говоря. Маша молча уставилась вниз, потом взглянула на ребенка и сказала:

"Ишь, как ручку подложил под щеку, как большой". "А тебе жалко его?", — спросила мать. "Нет, — ответила Маша притворно, — байдуже". "Брешешь, жалко..." — возразила мать примирительно. Ребенок через неделю умер так же таинственно, как и появился на свет.

Я часто уезжал из школы в деревню и оставался там почти каждый раз неделю и дольше. Среди школьников я ни с кем не успел сблизиться, так как не говорил на жаргоне. Ученье длилось лишь несколько месяцев. Всем этим, надо думать, и объясняется скудость моих школьных воспоминаний. Но все же Шуфер — так звали громоклеевского педагога — научил меня читать и писать, и оба эти искусства пригодились мне в моей дальнейшей жизни. Я сохраняю поэтому о моем первом учителе благодарное воспоминание.

Я начинал продираться через печатные строки. Я списывал стихи. Я сам писал стихи. Позже я приступил со своим двоюродным братом Сеней Ж-ским к изданию журнала. Однако на новом пути

были свои тернии. Едва я постиг искусство письма, как оно уже повернулось ко мне соблазном. Оставшись однажды в столовой один, я начал печатными буквами записывать те особенные слова, которые слышал в мастерской и на кухне и которых в семье не говорили. Я сознавал, что делаю не то, что надо, но слова были заманчивы именно своей запретностью. Роковую записочку я решил положить в коробочку из-под спичек, а коробочку глубоко закопать в землю за амбаром. Я далеко не довел своего документа до конца, как им заинтересовалась вошедшая в столовую старшая сестра. Я схватил бумажку со стола. За сестрой вошла мать. От меня требовали, чтобы я показал. Сгорая от стыда, я бросил бумажку за спинку дивана. Сестра хотела достать, но я истерически закричал: "Сам, сам достану". Я полез под диван и стал там рвать свою бумажку. Отчаянию моему не было пределов, как и моим слезам.

На Рождество, должно быть, 1886г., потому что я уже умел писать, ввалилась в столовую вечером, за чаем, группа ряженных. Это было так неожиданно, что я с испугу упал на диван, на котором сидел. Меня успокоили, и я с жадностью слушал царя Максимилиана. Передо мною впервые открылся мир фантастики, претворенной в театральную действительность. Я был поражен, когда узнал, что главную роль выполнял рабочий Прохор, из солдат. На другой день я с карандашом и бумагой пробрался в людскую, когда только что отобедали, и стал просить царя Максимилиана продиктовать мне свои монологи. Прохор отнекивался. Но я вцепился в него, просил, требовал, умолял, не давал отступить. В конце концов мы поместились у окна, я стал записывать на корявом подоконнике рифмованную речь царя Максимилиана. Не прошло и пяти минут, как в дверь заглянул отец, увидал сцену у окна и строго сказал: "Лева, ступай в комнату". Я безутешно плакал на диване до вечера.

Я писал стихи, беспомощные строчки, которые изобличали, может быть раннюю, любовь к слову, но наверняка не предвещали поэтического развития в будущем. О моих стихах знала старшая сестра, через сестру — мать, а через посредство матери — отец. От меня требовали, чтоб я читал свои стихи при гостях. Это было мучительно стыдно. Я отказывался. Меня уговаривали, сперва ласково, потом с раздражением, наконец, с угрозами. Я нередко убегал. Но старшие умели настоять на своем. С бьющимся сердцем, со слезами на глазах я читал свои стихи, стыдясь заимствованных строк или плохих рифм.

Но так или иначе, я уже вкусил от дерева познания. Жизнь расширялась не по дням, а по часам. От дырявого дивана в столовой протягивались нити к мирам иным. Чтение открывало в моей жизни новую эпоху.

### **Глава III. СЕМЬЯ И ШКОЛА**

1888 г. в моей жизни начались большие события. Меня отправили в Одессу учиться. Это произошло так. Летом жил в деревне племянник матери, 28-летний Моисей Филиппович Шпенцер, умный и хороший человек, в свое время слегка "пострадавший", как говорили тогда, и потому не попавший из гимназии в университет. Он занимался немного журналистикой, немного статистикой. В деревню он приехал бороться с угрозой туберкулеза. У матери своей и нескольких сестер Моня, как его называли, был предметом гордости — и по способностям, и по характеру. Уважение к нему перешло и в нашу семью. Все заранее радовались его приезду. Вместе с другими радовался потихоньку и я. Когда Моня вошел в столовую, я стоял за порогом так называемой детской, маленькой угловой комнаты, и не решался продвинуться вперед, потому что оба мои ботинка открывали два зияющих рта. Это было не от бедности — в то время семья была уже очень зажиточна, — а от деревенского безразличия, от переобремененности работой, от невысокого уровня семейных потребностей. "Здравствуй, мальчик, — сказал Моисей Филиппович, — иди-ка сюда..." "Здравствуйте", — ответил мальчик, но с места не двигался. Гостю с виноватым смехом объяснили, в чем дело, и он весело вывел меня из трудного положения, перенеся через порог и крепко обняв.

За обедом Моня был центром внимания: мать подкладывала ему лучшие куски, спрашивала, вкусно ли, и добивалась, чего он любит. Вечером, когда стадо загнали в загон, Моня сказал мне: "Айда пить парное молоко, бери стаканы... Да ты их бери, голубчик, пальцами снаружи, а не

снутри". От Мони я узнавал многое, чего не знал ранее: как держать стаканы, и как умываться, и как правильно произносить разные слова, и почему полезно для груди молоко прямо из-под коровы. Шпенцер гулял, писал, играл в кегли и занимался со мною арифметикой и русским языком, готовя меня в первый класс. Я относился к нему восторженно, но и с тревогой: в нем чувствовалось начало какой-то более требовательной дисциплины. Это было начало городской культуры.

Моня был приветлив со своими деревенскими родственниками, много шутил и напевал мягким тенором. Но моментами его настроение чем-то омрачалось, он сидел за обедом молчаливым и замкнутым. На него глядели с тревогой, спрашивали, что с ним, не болен ли. Он отвечал кратко и уклончиво. Только смутно, и то лишь к концу пребывания гостя в деревне, я стал догадываться о причинах таких приступов замкнутости: Моню поражала какая-нибудь деревенская грубость или несправедливость. Не то чтобы дядя или тетка его были особенно суровыми хозяевами, нет, этого сказать ни в каком случае нельзя.

Характер отношений к рабочим и крестьянам был никак не хуже, чем в других экonomies. Но и не многим лучше. А это значит, что он был тяжким. Когда приказчик отхлестал однажды длинным кнутом пастуха, который продержал до вечера лошадей у воды, Моня побледнел и сказал сквозь зубы: "Какая гадость!". И я чувствовал, что это гадость. Не знаю, почувствовал ли бы я это без него. Думаю, что да. Но во всяком случае он помог мне в этом, и уже это одно привязало меня к нему на всю жизнь чувством благодарности.

Шпенцер собирался жениться на начальнице одесского казенного училища для еврейских девочек. В Яновке ее никто не знал, но все заранее считали, что она должна быть выдающимся человеком: и как начальница училища, и как будущая жена Мони. Было решено: следующей весной меня отвезут в Одессу, я буду жить в семье Шпенцера и поступлю в гимназию. Портной из колонии коекак обрядил меня, в большой ящик были уложены горшки с маслом, банки с вареньем и другие гостинцы для городской родни. Прощались долго, плакал я крепко, плакала мать, плакали сестры, и тут я впервые почувствовал, как дорога мне Яновка со всеми, кто в ней. Ехали на станцию на лошадях, степью, и я плакал до самого поворота на большую дорогу. Из Нового Буга отправились поездом до Николаева, там пересаживались на пароход. Гудок парохода отдался мурашками в спине и прозвучал как возвешение новой жизни. Но это только еще река Буг, море впереди. Много, много еще впереди. Вот пристань, извозчик, Покровский переулок и старый большой дом, где помещается училище для девочек и его начальница. Меня рассматривают со всех сторон и целуют в лоб и щеки, сперва молодая женщина, потом старая, это ее мать. Моисей Филиппович шутит, как всегда, спрашивает про Яновку, про всех обитателей и даже про знакомых коров. Но мне коровы кажутся теперь такими малозначительными существами, что я стесняюсь даже говорить о них в таком избранном обществе. Квартира невелика. В столовой мне отведен угол за занавесью. Здесь я и провел первые четыре года своей школьной жизни.